

ра... В административной деятельности Жебелев считался „формалистом“, если понимать под формализмом неуклонное следование законным нормам, а не решение дел „по душе“ с обращением взора на „лицо человеческое“.

Нашли в автонекрологе отражение и некогда тяжелые для его автора переживания. С горечью, например, пишет он о своих взаимоотношениях с университетом: «По защите докторской диссертации Жебелев был назначен экстраординарным профессором, а в 1913 году был избран ординарным профессором по кафедре классической филологии... Жебелев числился профессором, пока осенью 1917 года ему не предложили было перейти в приват-доценты, на что Жебелев не согласился и расстался с университетом, проведя в нем, если считать время студенчества, 41 год, из которых 37 лет Жебелев на разных постах и разных званиях служил университету. За эту службу Жебелев в дореволюционное время никакими высокими чинами и орденами награжден не был, а по окончании же службы никакой пенсии не получил. И единственной наградой Жебелева по университету был перевод его из попов в дьячки».

Были у Сергея Александровича в середине 20-х и начале 30-х годов и другие серьезные и неприятные осложнения, вызванные совершенно беспочвенными, как это теперь мы хорошо знаем, покушениями опорочить его безукоризненную научную репутацию. На эти необоснованные и совершенно им не заслуженные нападки «Жебелев» ответил следующим образом: «...В его 40-летней деятельности было, конечно, немало всякого рода отрицательных сторон, но были, по его мнению, два положительных качества: первое — то, что Жебелев неуклонно и непреклонно трудился; второе — то, что он никогда не претендовал на какие-либо для себя льготы и привилегии и ими не пользовался раньше, не желает пользоваться и теперь». Этими словами заканчивается автонекролог Сергея Александровича Жебелева.

Д. П. Калустов

С. А. Жебелев

ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

(1886—1890 гг.)*

I

Пребывание мое в университете совпадает с тем временем, когда только что был введен в действие устав 1884 г. Странная судьба этого устава. В том виде, в каком он был задуман и проведен в жизнь, он просуществовал всего-навсего два года. Уже на третий год действия устава в него были внесены изменения — правда, мелкие и несущественные. Затем эти изменения продолжались и стали получать более значительный характер. Все они касались, впрочем, исключительно плана преподавания и тех или иных сторон учебного дела; в начале XX в. внесено было нечто новое в организацию студенчества (институт кураторов, совершенно не привившийся). Самая сущность устава, его, так сказать, дух продолжал оставаться неизменным вплоть до 27 августа 1905 г., когда под напором внешних и внутренних «стихий», охвативших тогда всю Россию, университетам была дарована так называемая автономия, коснувшаяся опять-таки не самого строя университетской жизни, а лишь администрации и ученого персонала. Насчет характера этой реформы и цели, ею преследуемой, тогдашний министр народного просвещения, покойный генерал В. Г. Глазов, недурно заметил бывшему тогда попечителем Одесского учебного округа А. Н. Деревницкому: «Мы, вот, помажем профессоров автономией, они и успокоятся».

Но ни о «духе» устава 1884 г., ни об «истории» его возникновения и постепенных стадиях его развития я говорить не собираюсь. Моя задача более скромная и опреде-

* Перепечатывается из журнала «Анналы», II, 1922, стр. 168—187

ленная: поделиться воспоминаниями и общими впечатлениями о том, чему и как учили профессора и как учились студенты на историко-филологическом факультете Петербургского университета в 1886—1890 гг. (годы моего студенчества).

II

Из всех университетских факультетов факультеты историко-филологические были затронуты уставом 1884 г. наиболее чувствительно. Строго говоря, эти факультеты, как таковые, были тогда упразднены, и сохранено было только одно их прежнее наименование. В самой организации историко-филологического факультета, как она представлялась составителям устава 1884 г., несомненно, можно усмотреть сознательную и обдуманную плановость, — правда, довольно злохитростного свойства. Казалось, из историко-филологических факультетов хотели создать своего рода оранжереи, где должна была культивироваться не вся историко-филологическая наука, а должна была расцветать и процветать лишь одна из дисциплин ее. Дисциплиной этой должна была стать классическая филология, понимаемая, опять-таки, не строго научно, а под определенным углом зрения. Построены были эти «оранжереи» очевидно, по мысли и плану одного из вдохновителей и строителей всего устава 1884 г. долголетнего председателя ученого комитета министерства народного просвещения А. И. Георгиевского. Не удовлетвовавшись созданной им в 70-х годах прошлого века классической семинарией в Лейпциге, А. И. Георгиевский задался мыслью наладить такие же рассадники просвещения и в России и решил воспользоваться для осуществления всего этого нашими историко-филологическими факультетами. Лейпцигская филологическая семинария была, как известно, любимым детищем А. И. Георгиевского, а ее питомцы пользовались постоянно его особым благоволением. Убеденный в том, что классическая филология — альфа и омега всех гуманитарных дисциплин, что в ней залог блага и спасения России (а по мнению А. И. Георгиевского, Россия, после 1 марта 1881 г., была безусловно на краю гибели), он задумал, во-первых, взрастить возможно большее количество филологов-классиков, как самый надежный оплот отечества, а во-вторых, всех тех филологов, которые не хотели быть специалистами-классиками и которые почувствовали бы влечение к иным дисциплинам, полагающимся на историко-филологическом факультете, так начинить и придушить классической филологией, что для удовлетворения научных интересов всех будущих историков, филологов (не классиков), лингвистов и пр. не оставалось бы почти места. И если бы А. И. Георгиевский хотел создать из историко-филологических факультетов образцовую школу по той «*Altertumswissenschaft*», которая к тому времени достигла такого пышного расцвета в Германии, с его затеей еще можно было бы кое-как примириться. Но таких намерений у А. И. Георгиевского, по-видимому, не было. Он мечтал не о создании строго научной школы по изучению античного мира; нет, он имел в виду лишь обучение студентов-филологов древним языкам, желал создать из историко-филологических факультетов продолжение классических гимназий, очевидно, полагая, что в них учащиеся обучены древним языкам недостаточно полно и твердо, что к восьми гимназическим классам, для пользы «дела», следует прибавить четыре курса — а, в сущности, класса — в университете.

План прохождения курса на историко-филологическом факультете по уставу 1884 г. (в его нетронутом виде), рассчитанного на 4 года, или, по немецкой системе, у нас впрочем не привившейся, на 8 семестров, построен был совершенно схематически и только на первый взгляд мог показаться стройным. На самом деле, план этот в применении к факультетскому преподаванию даже «оранжерейного» типа был совершенно уродливый. Это был, в сущности, не план, а расписание лекций, разбитых по семестрам. Само собой разумеется, лекции, посвященные древним языкам (из приличия их называли лекциями по древним авторам), занимали большую половину так называемых обязательных часов. Для всякого студента-филолога на всех семестрах, за исключением одного 7-го, из 18 часов в неделю на древние языки было уделено 10 часов: 6 лекций на чтение авторов и 4 лекции на практические занятия по древним языкам. Из

остающихся 8 часов — 4 лекции полагались на «реалии» из области классической филологии: история Греции и Рима, греческая и римская литература, греческие и римские древности, история греческого искусства, Платон и Аристотель (история древней философии, как таковая, отсутствовала).

Эти 14 лекций, отданные классической филологии, обязательны были для всех студентов факультета, и предметы, которым лекции были посвящены, именовались основными. Остающиеся 4 лекции из 18 охватывали дополнительные предметы, распределенные по двум группам — студент мог выбирать любую из них — группа А, где читались предметы словесные (история литератур русской и западноевропейской, филология русская и славянская, санскрит и сравнительное языкознание), и группа В, историческая (история русская, древнего Востока, средневековья, новая, славян, церкви). Никаких обязательных практических занятий ни по предметам словесной группы, ни по предметам исторической не полагалось. Философские предметы из плана преподавания были изъяты, и студент мог окончить факультет, не прослушав курса ни психологии, ни логики (по последней, правда, полагался экзамен в государственных комиссиях, но по гимназическому курсу); история новой философии отсутствовала, да и история древней философии сведена была, как упомянуто, исключительно к Платону и Аристотелю, точнее сказать, к чтению того или другого произведения каждого из них. Наконец, из истории искусства уделено было внимание только греческому искусству, но всего при четырех лекциях в неделю и в течение одного семестра.

Такова была структура учебного плана того факультета, за которым устав все же оставил наименование историко-филологического. Насколько оно подходило к нему, говорить не стоит. Все науки историко-филологического цикла принесены были в жертву древним языкам. Они, эти злосчастные древние языки, должны были стать краеугольным камнем всего факультетского преподавания. Даже проверка успешности занятий студентов, в течение всего университетского курса, должна была производиться лишь по древним языкам. Даже так называемые зачетные сочинения (прежние кандидатские диссертации) могли быть представляемы к зачету только на темы из области классической филологии (исключение было сделано для тех работ, которые были написаны на темы, предложенные факультетом на медаль — эти работы можно было представлять в качестве зачетных сочинений). Наконец, центр тяжести государственных экзаменов опять-таки сосредоточивался на древних языках и вообще на классической филологии.

Если классические гимназии толстовского типа оставили по себе столь одиозное воспоминание в русском обществе и вселили в него на долгое время какое-то инстинктивное отвращение к пресловутому классицизму, то какая *damnatio memoriae* должна была бы лечь на историко-филологические факультеты русских университетов и на всех лиц, получивших на нем образование по уставу 1884 г.! Об этом составители учебного плана, очевидно, не думали, или возможно, очень много думали..., но думали вкривь и вкось. Оттого-то думы их ни к чему не привели.

III

«Не так страшен чорт, как его малюют». Это чувство испытывала та полсотня смельчаков, которые поступили, все-таки, на историко-филологический факультет Петербургского университета в августе 1885 и 1886 г. Может быть, число этих смельчаков стало бы и меньше, если бы русские молодые люди, получившие аттестат зрелости, при своем поступлении в университет были осведомлены о том, что вообще их в университете ожидает. Но они, как тогда, так и впоследствии, да, пожалуй, и теперь, поступают в высшее учебное заведение «в темную» и, уже поступив в него, знакомятся на практике с его строем, с общею постановкою и программой преподавания на избранном ими факультете. Поступая в августе 1886 г. на историко-филологический факультет Петербургского университета, я знал только одно: в университете введен новый устав: но о том, что он собой представляет, что меня ожидает на избранном мною факультете, я никакого представления не имел. Со всем этим я, как и мои сотоварищи,

ознакомились лишь после того, как мы, уже зачисленные в студенты и облекшиеся в студенческие сюртуки (тужурок в наше время носить еще не дозволялось) получили печатные экземпляры устава, учебного плана и правил прохождения курса и обозрение преподавания на осенний семестр 1886 г.

Затем предстояла запись на лекции. Так как обязательные предметы, т. е. 18 лекций, были уже определены, то ломать голову над тем, на что записываться, не приходилось. Следовало только выбрать из числа объявленных авторов 6 лекций. Я записался на Гомера у К. Я. Люгебиля, Демосфена у П. В. Никитина, Овидия у Ф. Ф. Зелинского. Нужно было выбрать также и практические занятия по древним языкам. Я выбрал Плутарха у В. В. Латышева и Овидия у Ф. Ф. Зелинского; эти же профессора руководили и упражнениями в переводе с русского языка на древние. Остальные 8 часов из числа 18 обязательных распределялись поровну между лекциями по древней истории у Ф. Ф. Соколова и русской истории у Е. Е. Замысловского. Студенту предоставлялось право записываться и на лекции, из числа объявленных, сверх 18 часов. Много объявлено было лекций, которые интересовали меня. Но пришлось ограничиться немногим (за каждую лекцию приходилось вносить рублевый гонорар): логикой у М. И. Владиславлева — 2 лекции и историей русской литературы у О. Ф. Миллера — 4 лекции. Всего пришлось заплатить $18 + 6 + 5$ (в пользу университета) — 29 руб., сумма, по тогдашнему времени большая для студента. Позже — должен покаяться — я, по указанию самих же профессоров, записывался только на обязательные лекции, лекции же необязательные, т. е. выходившие за пределы 18-часовой нормы, продолжал слушать в достаточном количестве, но в записи не пометал, иными словами, гонорара за них не платил.

31 августа, перед началом занятий, отслужен был в университетской церкви молебен, после которого, в актовом зале, тогдашний ректор И. Е. Андреевский обратился к собравшейся молодежи с приветственным словом.

1 сентября начались лекции. Первую лекцию, которую мне пришлось слушать, была логика; читал ее тогдашний декан факультета М. И. Владиславлев.

Поступая на факультет, я не знал еще, на чем специализируюсь окончательно — на философии ли, или на истории русской литературы, которая меня очень увлекала в гимназии. О том, что я стану «классиком», я при поступлении в университет, во всяком случае, не помышлял, хотя в гимназии (2-й С.-Петербургской, на Казанской ул.) древними языками занимался без всякого отвращения и не без успеха.

Мои специальные интересы к области изучения древнего, преимущественно, греческого мира обрисовались с достаточной определенностью лишь к концу первого года моего пребывания на факультете.

IV

Несмотря на очевидное стремление составителей устава 1884 г. превратить историко-филологические факультеты в семинарии по древним языкам и тем самым в корне подрезать на них нормальные научные занятия по историческим и словесным — в широком смысле слова — дисциплинам, расчеты авторов устава, с самого же начала, потерпели полное крушение. Предшествовавший нашему выпуску выпуск студентов-филологов не дал для высшей школы ни одного работника в области классической филологии. Ставший впоследствии профессором, сначала Нежинского историко-филологического института, потом университета св. Владимира, А. И. Покровский, специализировался по древней истории и таким образом, филологом-классиком является лишь отчасти, постольку, поскольку вообще изучение древней истории предполагает, или, во всяком случае, должно предполагать основательное знакомство не только с древними языками, но и вообще с дисциплинами, входящими в область классической филологии. Из моего выпуска филологом-классиком стал лишь один я; впрочем, и у меня с самого же начала обнаружился заметный уклон в сторону не формально-грамматического, а реально-исторического изучения древнего мира. Из моих сотоварищей по курсу один — безвременно скончавшийся Б. А. Тураев — стал египтологом и историком Востока;

другой — А. Л. Липовский — увлекся славяноведением, и вероятно, занял бы со временем профессорскую кафедру, если бы рано уже не отдался слишком ретиво педагогической деятельности; третьему, Б. К. Ордину, написавшему прекрасную работу о взятии Константинополя турками в 1453 г., В. Г. Васильевский предлагал, по окончании университета, пойти по ученой дороге, но Б. К. Ордин — по скромности ли, или по каким иным соображениям — от этого отказался.

То, что и А. И. Покровский и я стали классиками, не может показаться удивительным, если принять во внимание изложенную выше структуру пройденного нами факультета, с его ориентацией в сторону классического мира. Но каким образом мог выработаться из Б. А. Тураева египтолог, или из А. Л. Липовского славист, или готов был получиться из Б. К. Ордина медиевист, это на первый взгляд, должно показаться загадочным.

Загадку эту разгадать будет нетрудно, если принять во внимание изречение: «Законы святы, да исполнители — лихие супостаты». Составители устава 1884 г. издали, в отношении историко-филологических факультетов, действительно, свои законы, хотя и не «святы», а скорее абсурдные, но исполнителями этих законов явились, воистину, «лихие супостаты», и они-то, эти исполнители, и погубили, точнее сказать, обезвредили, поскольку были в силах, сами абсурдные законы. «Супостаты», т. е., попросту говоря, профессора историко-филологических факультетов, приняли изданные и навязанные им законы к сведению, но далеко не к исполнению. Правда, все лекции, значившиеся в учебном плане, объявлялись неукоснительно и читались аккуратно, практические занятия по древним языкам также велись со всею строгостью, причем для того, чтобы заполнить все группы практических занятий, некоторым профессорам-классикам на нашем факультете пришлось увеличить число своих часов далеко свыше обычной нормы (Ф. Ф. Зелинский, например, имел 14 лекций в неделю — обстоятельство, вызвавшее, в свое время, бурное негодование в печати покойного В. И. Модестова). Но самое главное заключалось в том, что почти все наши профессора-классики отнеслись к своему делу именно, как профессора, а не как «педагоги», в каковые думал обратить их устав 1884 г. В преподавании всех без исключения классических предметов царил строго научный, а не менторско-дидактический дух. Профессора-классики понимали классическую филологию как научную дисциплину, а не как особого рода педагогический прием, имеющий в виду не столько научить, сколько «обуздать» «смирить». Лучшим доказательством всего этого служит, во-первых, то, что никаких принудительных, а тем менее карательных мер по отношению к тем студентам, которые мало преуспевали в древних языках, профессора-классики никогда не предпринимали; во-вторых, то, что, несмотря на перегруженность плана классическими предметами, профессора-классики, сверх тех предметов, которые они должны были читать по учебному плану, посвящали немало лекций и таким дисциплинам из области классической филологии, которые в учебном плане не значились, но которые были необходимы для всякого, кто желал серьезно и научно заниматься классической филологией. Говоря коротко: наши профессора-классики не обратились в «Schulmeister'ов», какими грозил их сделать нелепый учебный план, и оставались профессорами, и скажу, забегая вперед, превосходными профессорами. Во всяком случае, тем «привилегированным положением», в какое профессоров-классиков, казалось бы, должен был поставить учебный план по уставу 1884 г., они и в малой степени не воспользовались. Более того, они, по-видимому, этого привилегированного положения конфузились и вскоре же первые с жаром против него ополчились. Кто обрушился прежде всего на «классические оранжереи» А. И. Георгиевского и кто, разбив их фундаменты, посодействовал тому, что «оранжереи» снова были заменены «факультетами»? Это были наши профессора-классики, покойный И. В. Помяловский (кстати сказать, близкий приятель А. И. Георгиевского, но решительно вставший в данном случае на точку зрения: *amicus Plato...*) и П. В. Никитин.

Оба они подали в свое время в министерство народного просвещения обстоятельные и ехидно составленные записки по поводу произведенной А. И. Георгиевским реформы историко-филологических факультетов. Записки эти, бывшие в моем распоряжении, переданы были мною в свое время М. И. Ростовцеву, который отчасти испол-

лекция по «Омиру». В небольшую аудиторию (по старому счету VI) вошел невысокий старый человек с волочащейся ногою, с большим портфелем, туго набитым книгами, бумагами (позже этот исторический портфель попал к Б. А. Тураеву и служил ему до самой смерти). Придвинув кресло вплотную к партам, К. Я. Люгемиль вынул из портфеля какие-то таблицы с непонятными для нас письменами (позже мы узнали, что эти таблицы — снимки с части рукописи Илиады, из издания Ла Роша) и раздал таблицы нам. А затем, не сделав никакого ни введения, ни пояснения, предложил одному из нас (слушателей было человек 5—6) читать прямо по таблице. Студент, пользуясь тем, что профессор был туг на ухо и должен был прибегать к слуховой трубке, посмотрел на письмена и довольно громко заявил нам: «Да тут черт знает, что такое, какая-то ахиня!» — Что, что такое? спрашивает К. Я. Люгемиль, не расслышав замечания студента и приблизив трубку к уху. — Я ничего не понимаю, заявляет студент. — Как ничего не понимаете? Разве вы не видели никогда греческих рукописей? спрашивает К. Я. Люгемиль. — Нет, не видел. А другой кто видел? Оказалось, никто не видел. Тут только К. Я. Люгемиль спохватился, рассказал нам очень кратко не о рукописном предании вообще, а о главнейших рукописях Илиады, объявил, что занятия будут состоять в критике текста и... не смущаясь тем, что и о критике текста мы слышали впервые, все же заставил нас по очереди читать текст прямо по снимку с рукописи. Разумеется, мы не читали, а кое-как брели по указке профессора. А он не смущался, говорил: ничего, привыкнете. После такого дебюта, на следующих лекциях аудитория сильно поредела: нас осталось, помнится, всего два человека, и мы кое-чему все-таки успели научиться в течение тех немногих лекций, которые пришлось прослушать. Я могу считать себя счастливым, что мне, хотя бы «мельком», удалось быть слушателем выдающегося филолога-классика. Моими главными наставниками в области изучения греческой филологии были покойные В. К. Эрнштедт и П. В. Никитин.

В. К. Эрнштедт, которому я считаю себя обязанным чрезвычайно многим, был в то время молодым профессором. Внешняя манера его чтения лекций вряд ли к себе располагала и на большую аудиторию он рассчитывать не мог. Читать лекции — в особенности в виде так называемых общих курсов (например, история греческой прозы) — он, как мне впоследствии сам признавался, не любил, да откровенно говоря, в мое время и не очень рачительно к лекциям готовился. Объясняется это тем, что в то время он усиленно и увлеченно работал над своей докторской диссертацией — «Порфирьевские отрывки из античной комедии», этой жемчужиной среди наших филологических монографий. Но если В. К. Эрнштедт далеко не был «блестящим» профессором, то руководителем для специалистов он был незаменимым. Авторы он предпочитал переводить не сам, а заставлял переводить их желающих из слушателей, так что лекции по интерпретации, в сущности, обращались в практические занятия, и это приносило мне, часто выступавшему в качестве переводчика, большую пользу. Выбор авторов у В. К. Эрнштедта был очень широкий. Я слушал у него речи Фукидида, трактат псевдо-Лонгина «О высоком», первую книгу Павсания, «Пинтику» Аристотеля, «Ореста» Еврипида и пр.; сверх того, участвовал, под руководством В. К. Эрнштедта, в практических занятиях по Лисию, Гипериду, греческой стилистике. В особенности мастерски В. К. Эрнштедт руководил занятиями по греческой палеографии, первоклассным знанием которой он у нас был. Из меня, правда, специалиста-палеографа он не сделал, но пример моего младшего сверстника Г. Ф. Церетели, превзошедшего, пожалуй, в области греческой палеографии своего учителя, способен дать представление о том, какой это был учитель. Во всяком случае, В. К. Эрнштедт был профессором только для специалистов-классиков, которые его всегда очень ценили и у которого они многому научились, не только в деле приобретения филологических знаний, — а знания эти были и глубокие, и разносторонние, в чем легко убедиться, хотя бы по изданным нами, его учениками, «*Victoris Jernstedt Opuscula*», не говоря уже об упомянутых выше «Порфирьевских отрывках», — но и в смысле выработки правильного, строго научного филологического метода. Мне известно, что мои старшие сверстники, окончившие курс еще по уставу 1863 г.: М. Н. Крашенинников (ныне профессор Воронежского университета, долгое время подвизавшийся в Юрьеве, автор многочисленных и образцовых ра-

бот); Н. Я. Шубин (по скромности, избравший преподавательскую карьеру, великодушный знаток греческого языка, один из первых переводчиков «Афинской политики» Аристотеля); покойный Р. Х. Лепер (жизнь его сложилась неудачно и профессором он не стал; как научный работник прославился замечательным исследованием об аттических демах и пр.) — все они всегда считали себя во многом обязанными руководителю В. К. Ернштедта. Он отошел в вечность в полном расцвете своих знаний и таланта, уже двадцать лет тому назад, но воспоминание об этом на редкость идеальном человеке у всех тех, кто близко соприкасался с ним в свое время, будет жить до гробовой доски. Из всех моих профессоров ни с одним я не сошелся так близко, как с В. К. Ернштедтом.

Полную противоположность ему, как профессор-лектор, представлял покойный П. В. Никитин. О нем мне много говорить не приходится: почти все, что я мог сказать о нем, сказано мною в большом некрологе, посвященном его памяти (напечатан в «Журн. Мин. нар. просв.» за 1916 г.; вышел также и отдельной брошюрой). Добавляю лишь кое-какие мелочи. П. В. Никитин с изумительной тщательностью обрабатывал свои лекции, касались ли они толкования древних авторов (я слушал у него «О венце» Демосфена, «Агамемнона» Эсхила, «Фесмофории» Аристофана, идиллии Феокрита, «Демосфена» Плутарха и пр.), истории греческой поэзии, греческой диалектологии, избранных отделов исторической грамматики греческого языка и пр. Особенно хорошо П. В. Никитин переводил, настолько хорошо, что его слушали с восторгом все студенты филологического факультета (об образчике переводов П. В. Никитина может дать понятие изданный мною, уже после его смерти, его перевод «Фесмофорий» Аристофана). Незаменимым руководителем был П. В. Никитин и на практических занятиях по критике и интерпретации (я слушал «Эанта» Софокла, а также греческую стилистику — переводили с латинского на греческий Корнелия Непота). Свои лекции П. В. Никитин всегда читал в несуществующей ныне I аудитории (кстати сказать, эта аудитория испытала много превращений: там была впоследствии курительная комната, студенческий буфет и так называемая портретная галерея — в ней на стенах развешаны были фотографические карточки студентов для нужд инспекции), читал их всегда стоя и неизменно обращался к слушателям «Милостивые государи», хотя бы «государей» этих на специальных курсах было всего-навсего двое. Некоторые курсы П. В. Никитина я, впрочем, слушал в единственном числе; правда, тогда он меня «милостивым государем» не называл, но читал все же стоя на кафедре, а главное — читал и эти лекции так же, как если бы имел пред собою и более обширную аудиторию. По строгому отношению к своим профессорским обязанностям, П. В. Никитин всегда был и будет для меня недосягаемым идеалом. Как с человеком, с П. В. Никитиным было сойтись нелегко: натура его была самоуглубленная, в себе самой замкнутая, казавшаяся, по первому впечатлению, слишком строгой и даже черствой. Но все это только казалось. Студенты побаивались его, в особенности боялись его «острого» языка и хорошо знали, что ни «заговорить», ни «провести» профессора им никогда не удастся. А за удивительную скромность и как бы застенчивость П. В. Никитина студенты нередко называли его «красною девицей».

В мое время приват-доцентом по греческой филологии был только покойный В. В. Латышев. Помимо слушания лекций его по греческим древностям, я участвовал, под его руководством, в практических занятиях, на двух первых курсах, по разбору «Аристиды» Плутарха и 6-й книги Фукидида и в переводах с русского языка на греческий, причем переводить нас он заставлял вряд ли подходящие для перевода «Очерки по древней истории» Иловайского. В. В. Латышев, снискавший себе почетную известность и за пределами России, как блестящий эпиграфист, в особенности что касается греческих надписей, происходивших из греческих колоний на юге России — менее, чем его коллеги, удовлетворял нас, как профессор; он казался нам попросту учителем. Один из наших сотоварищей говорил нам, что, заглянув как-то случайно в записную книжку В. В. Латышева, он увидел в ней, при фамилиях студентов, немалое количество единиц и двоек — очевидно, это были отметки, которые В. В. Латышев ставил нам за переводы из «Иловайского». Я лично считаю себя обязанным В. В. Ла-

тышеву тем, что он, частным образом, «ввел» меня в изучение греческой эпиграфики, когда я, будучи еще студентом-первокурсником, обратился к нему, по совету Ф. Ф. Соколова, за соответствующими указаниями.

Главным представителем латинской филологии был покойный И. В. Помяловский, ставший, после М. И. Владиславлева, деканом факультета. У него мы слушали изящно составленные и толково изложенные лекции по истории римской литературы и по римским государственным древностям. Занятый административными делами, И. В. Помяловский, хотя и не манкировал лекциями, но посвящал им, особенно по субботам, когда бывали факультетские заседания, немного времени: двухчасовые лекции, за вычетом двух «*Viertelstunden*» обращались, самое большое, в часовую, а то и еще меньше, если профессор заканчивал какой-либо отдел курса. Не правилось нам также и то, что И. В. Помяловский читал, почти не отрываясь от составленных им записок. Это действовало расхолаживающе на аудиторию, несмотря на то, что лекции были очень содержательны. Зато большую пользу можно было извлечь из практических занятий под руководством И. В. Помяловского, которые состояли в чтении и разборе латинских надписей по сборнику Вильманса. Тут И. В. Помяловский никакими «записками» связан не был, любил беседовать на различные темы, связанные, а иногда и мало связанные, с предметом занятий, обогащая нас обширными библиографическими указаниями; будучи сам страстным библиофилом, он не упускал никогда случая, увидев у студента книгу, спрашивать его: «А это у вас что за книжица?» — причем, если «книжица» бывала хорошою, или редкою, то он давал и соответствующую ей аттестацию, вплоть до указания ее рыночной стоимости и предупреждения: «У меня она имеется в двух экземплярах». Когда я как-то спросил его, зачем же у него два экземпляра одной и той же книги, то получил такой ответ: хорошую книгу, «извольте ли видеть» (любимое и постоянное *mot* И. В. Помяловского), можно держать и в трех экземплярах. Как профессор-экзаменатор, И. В. Помяловский отличался неизреченною доброю и снисходительностью. Покойный приятель мой, А. Н. Щукарев, метко охарактеризовал его натуру: «его благоутробие».

Ф. Ф. Зелинский, незадолго до поступления моего в университет вступивший в число приват-доцентов, к окончанию мною курса получил кафедру. У него я слушал лекции по Овидию, Ливию, письмам Цицерона. Чтению и толкованию авторов Ф. Ф. Зелинский предпосылал обширные и обстоятельные введения, например, о греческой мифологии, о римской историографии и т. д. В мое время Ф. Ф. Зелинский не был еще таким большим оратором, каким он стал впоследствии; курсы его, при всей их обстоятельности, казались нам несколько скучными, в особенности потому, что он читал их, не отрываясь от «записок», причем не пропускал даже отмечать и такие внешние подразделения в них, как например, глава III, § 2, пункт а и т. п. Центр тяжести деятельности Ф. Ф. Зелинского лежал в практических занятиях. Они состояли: 1) в критике и интерпретации избранных произведений латинских авторов (с особенным удовольствием вспоминаю разбор «*De legibus*» Цицерона и отрывков из третьей декады Ливия, где многому научился) и 2) в переводах с русского на латинский. Эти переводы доставляли нам немало хлопот и забот, в особенности потому, что приходилось всем студентам пользоваться имевшимся только в одном экземпляре в библиотеке русско-латинским словарем Ивашковского, а заменить его было нечем. Приходилось устраивать своего рода очередь занятий. Текстом для перевода Ф. Ф. Зелинский избрал в первый год отрывок из «Истории» Карамзина, касающийся Ивана Грозного, во второй — «Историю Пугачевского бунта» Пушкина. Переводы нужно было представлять, конечно, только желающим, но желающих было всегда достаточно, так как, на основании переводов, производился отчасти зачет семестров. Один из переводчиков избирался быть рецензентом всех переводов. Предварительно, однако, профессор брал переводы себе, просматривал их, но ошибки не подчеркивал, отрезал фамилии переводчиков и обозначал листки буквами греческого алфавита и уже в таком виде давал их рецензенту. Последний сверял все переводы, выбирая из каждого из них то, что казалось ему переведенным лучше, и начинал, в присутствии всех переводчиков, разбор, указывая, что

такое-то выражение у г. α переведено так-то, у г. β так-то и т. д.; затем, главным образом, при помощи самого Ф. Ф. Зелинского устанавливалась окончательная редакция перевода. Не скажу, чтобы воспоминания об этих нудных занятиях (особенно эти гг. α , β , γ ...) остались радужные. Не уверен даже, усовершенствовались ли они наши познания в области латинской стилистики. Живое припоминаю, сколько было, например, разговору о том, как нужно переводить «Воробьевы горы». Один предлагал «Montes passerum», другой «Montes Vorobientes», третий «Montes Vorobiensium» и т. д. и т. п. На чем остановились, не помню. Впоследствии руководя сам упражнениями студентов по греческой стилистике, я стал держаться такой системы, которую нахожу наиболее и правильною и целесообразною: я брал отрывки какого-нибудь нетрудного греческого автора (басни Эсопа, Hellenica Ксенофонта, речи Лисия и т. п.), переводил отрывок на русский язык и затем давал русский текст переводить студентам, просматривал переводы, отмечал в них грамматические ошибки, и, в конце концов, давал сверять переводы с греческим оригиналом, причем отмечал его стилистические особенности. При такой системе студенты, на мой взгляд, лучше входят в стиль и дух греческой речи, руководитель же чувствует себя более безопасным, нежели то можно сказать, когда приходится переводить Карамзина, Пушкина и пр.

Из приват-доцентов по латинской филологии в мое время подвизались двое: О. А. Шебор и при мне вступивший в число приват-доцентов, после долгого перерыва в профессорской деятельности, В. И. Модестов. О. А. Шебор читал с кажущимся увлечением, в сильно приподнятом тоне, Теренция и Плавта, причем любимым его присказкой при переводе и толковании было выражение: «Не правда ли? Так!». Это слегка нарушало пафос О. А. Шебора, который, подобно В. В. Латышеву, казался нам скорее учителем, чем профессором. Имя покойного В. И. Модестова большинству студентов было известно еще с гимназической скамьи, как сотрудника «Новостей», «Нови» и других периодических изданий, а также как автора «Истории римской литературы». Рассчитывая встретить в лице В. И. Модестова такого же хорошего лектора, каким он был писателем, мы были очень разочарованы, когда оказалось, что В. И. Модестов читает не совсем-то гладко и выразительно (при этом ему еще мешало постоянно сваливавшееся у него с носа пенсне). В особенности же шокировало его семинарское произношение; живо помню, как он начал читать «Анналы» Тацита: *urbem Romam a principio reges habuere*. К концу пребывания моего в университете приступил к чтению лекций вернувшийся из заграничной командировки совсем юный тогда, ныне уже покойный И. И. Холодник, курс которого «История классической филологии в древности» я прослушал и с удовольствием, и с пользой, а на его лекциях по латинской палеографии многому научился.

Перехожу к историкам. Из них о покойном Ф. Ф. Соколове, моем главном и, так сказать, ответственном руководителе, ничего говорить не буду, так как все, что умел, сказал в подробном его некрологе («Журн. Мин. нар. просв.» за 1909 г. и отдельной брошюрой), а в воспоминаниях о нем могу оказаться — или это может показаться — слишком субъективным¹. Сам я считаю себя всецело учеником «Соколовской школы» и полагаю, что и мне свойственно как ее недостатки, так, быть может, и некоторые достоинства. О других профессорах-историках буду вспоминать очень кратко. Лекции их я слушал внимательно, но в практических занятиях по истории Византии участвовал только в течение двух семестров, у покойного В. Г. Васильевского. Он был, как всем известно, прекрасный руководитель, но чтобы оценить его вполне, надобно было у него специализироваться. У нас многие, званые и незваные, причисляют себя к ученикам В. Г. Васильевского: приятно быть поближе к солнцу. Я же скажу, что все мы с большим увлечением слушали курс В. Г. Васильевского, посвященный сравнительной характеристике романо-германского запада и греко-славянского востока. С удовольствием вспоминаю и прослушанный мною курс Н. И. Кареева по новой истории. С по-

¹ В моем распоряжении оказалась переписка Ф. Ф. с его родными за время его пребывания за границей (1863—1867). Письма Ф. Ф. чрезвычайно интересны по существу и дают много для характеристики его, но они слишком «интимного» характера, чтобы предавать их гласности целиком.

койным В. И. Ламанским вышел курьез: курс, объявленный им в обозрении преподавания, значился «История славян». Когда В. И. Ламанский явился на первую лекцию, он выругал новый устав и заявил, что будет читать для специалистов «Историю гуситского движения», а когда мы спросили: как же нам готовиться к экзамену, ответил: я почем знаю, спросите у тех дураков, которые сочиняли новый устав. Тем история славян для меня и закончилась. Об экзамене расскажу ниже. С удовольствием вспоминаю, как мы, в небольшом числе (двое-трое), слушали содержательные курсы покойного И. Е. Троицкого по истории церкви. Им объявлены были четыре курса: по истории древнехристианской, восточной, западной и русской церкви. Начал он читать очень обстоятельно, с пространными введениями об источниках и литературе предмета, но ни одного курса, разумеется, не довел и до половины, а в курсе по истории русской церкви остановился на разборе легенды о пребывании ап. Андрея в Киеве. Курс по истории древнего Востока, впервые введенный в учебный план по уставу 1884 г. за неимением специалиста, должен был читать Ф. Ф. Соколов и читал, его, как мне он сам потом говорил, «с краскою на ланитах». Ф. Ф. Соколов чувствовал себя хозяином только в областях, где он мог сам дойти до источников. Источники по истории древнего Востока были ему недоступны в оригинале, он оказался в рабстве у переводчиков, переводчики его путали, так как каждый переводил по своему, и несчастный Ф. Ф. Соколов должен был выбирать то, в чем переводчики оказывались согласны один с другим. И это «согласие» подчас находило свое выражение в таких отрывочных фразах курса: поход такого-то фараона в Эфиопию... победа... триумф и т. п. Лишь с воцарением у нас Б. А. Тураева, в конце прошлого века, история древнего Востока не только расцвела, но и стала приносить обильные плоды: дай бог, чтобы они полно созрели. И как жаль, что Б. А. Тураев так безвременно и несвоевременно нас покинул! Курс русской истории (до Иоанна Грозного) читал покойный Е. Е. Замысловский, внятно, но скучновато, с обстоятельным введением историографического характера. Читал Е. Е. Замысловский свои лекции по утрам, от 9 до 11 часов. В зимние месяцы на кафедру ставились две свечи, и между ними выделялась мертвенно бледная голова тогда уже, очевидно, больного, пораженного тяжким недугом, профессора.

Из профессоров-словесников я прослушал курс (скорее публицистического, чем строго научного характера) покойного О. Ф. Миллера по истории русской литературы и пробовал слушать курс о Шекспире покойного А. Н. Веселовского, говорю — пробова, так как А. Н. Веселовский в мое время чаще пропускал, чем читал лекции².

Остается упомянуть еще о двух профессорах: М. И. Владиславлеве и Н. П. Кондакове. У покойного М. И. Владиславлева я прослушал: логику, психологию, философию духа и «Федона» Платона. Философские материи М. И. Владиславлев излагал очень ясно, но и очень скучно и монотонно. «Федона» переводил почти буквально, так что понять и с греческим текстом в руках было трудно. Слушал я его уже на четвертом курсе. Вскоре М. И. Владиславлев заболел и заканчивал курс молодой тогда, но и тогда уже блестящий профессор А. И. Введенский. Он стал нам читать прямо о Платоне, причем свою первую лекцию о нем начал так: «По одним, Платон родился в 429 г., по

² Мне передавал впоследствии Н. П. Кондаков такой случай в заседании факультета, который, может быть, стоит предать гласности, так как он характерен для А. Н. Веселовского. «Высшее начальство» поручило декану факультета, И. В. Помяловскому, поставить на вид А. Н. Веселовскому его манкировки. Желая сделать это в возможно деликатной и товарищеской форме, И. В. Помяловский сказал: «Вот, извольте ли видеть, говорят, что некоторые профессора пропускают много лекций». На это первый же А. Н. Веселовский откликнулся вопросом: «Неужели? Да кто же это такая свинья?..». И другой рассказ из прошлого факультетской жизни, рассказанный мне тем же Н. П. Кондаковым. Покойный профессор русской литературы А. И. Незеленов читал отзыв о какой-то диссертации, или сочинении, где фигурировал бл. Иероним, которого автор называл, по невежеству, св. Жеромом, а А. И. Незеленов, желая окрестить Жерома русским именем, переделал его в Герасима. Произошел конфуз. Когда А. И. Незеленов окончил чтение отзыва, В. Г. Васильевский подошел к нему и говорит: «Был у нас в семинарии учитель, которого звали Герасимом. А мы, мальчишки, бывало, говорили про себя: ах ты, Герасим, Герасим, возьмем болван, да окрасим. Ведь Жером-то значит Иероним». Картина!

другим — в 427 г. Все равно, когда он родился; важно то что он родился...». Это был живой родник по сравнению с омертвевшим М. И. Владиславлевым. Последнего, как известно, сгубило ректорство. Ректор он был строгий и потачек студентам не давал. Требовал, например, чтобы при встрече студенты ему кланялись! Когда двое из моих товарищей этого не сделали и получили от ректора соответствующее внушение, один из них, в оправдание себя, сказал: «Я вам уже сегодня кланялся», а другой, желая пошутить что ли, оправдывался: «Я вас не заметил» (последнее оценят лишь те, кто помнят высокую и грузную фигуру М. И. Владиславлева, облеченную в вицмундир и серые брюки ³). Н. П. Кондаков, знаменитый наш историк искусства и археолог, перешел к нам из Одессы. Историю греческого искусства он излагал довольно суммарно; зато лекции по истории византийского искусства, с практическими занятиями, были чрезвычайно интересны, и глубоко назидательны. Впрочем, мои близкие отношения к Н. П. Кондакову относятся ко времени, уже непосредственно следовавшему за окончанием моего университетского курса. С конца 1890 г. и по 15 апреля 1917 г., когда Н. П. Кондаков уехал из Петербурга, я виделся с ним чаще, чем с кем-либо из остальных моих профессоров, сблизился с ним так тесно, как ни с кем из моих профессоров не сблизился; о многом мы переговаривали, и многому, очень многому, я от него научился. Вспоминать обо всем этом в данном случае неуместно ⁴.

VI

При всех несуразностях и уродствах устава 1864 г. в нем была, однако, своя хорошая сторона. Это — отсутствие экзаменов в течение университетского курса (позже были восстановлены сначала полукурсовые, а потом и годовые экзамены). Экзамены в мое время были заменены «зачетами семестров», которые, если бы они были поставлены рационально, принесли бы, конечно, больше пользы, чем приносят экзамены, особенно по прослушанным курсам. В мое время «зачеты семестров» были организованы так: к концу каждого семестра студент подавал письменное заявление декану факультета о том, какие произведения и какого автора, греческого и латинского, он взял себе для зачета. При этом нельзя было выбирать тех произведений, которые объяснялись в данный семестр профессорами. Во всем остальном студенты пользовались полным выбором, с соблюдением одного лишь условия: каждое выбранное произведение должно было в себе заключать не менее 360 страниц тейбнеровского текста. В конце каждого семестра студенты были распределяемы по группам, и каждая группа назначалась к определенному профессору, или приват-доценту. В сущности, самая проверка была чисто формальной; классикам такие зачеты доставляли пользу в том отношении, что почти буждали их самостоятельно читать авторов; для не-классиков зачет, как проверка формальная, был удобен в том отношении, что не отвлекал их от занятий своею специальностью, или отвлекал их на короткое время. Замечу еще, что зачет семестра не сопровождался выставлением каких-либо отметок: профессора спрашивали благосклонно и «прогоняли», т. е. заставляли приходиться вторично лишь заведомо недобросовестных студентов, или неучей (вроде, например, такого «знатока» греческого языка, известных студентов, или неучей (вроде, например, такого «знатока» греческого языка, который переводил П. В. Никитину ὄφθαλμός словами «пыль», «грязь», или как однажды мне студент не мог объяснить, из чего составлено слово «автограф» и т. п.).

Со второго года пребывания моего в университете введены были зачеты и по дополнительным предметам. Эти зачеты, большую частью, состояли в чтении и усвоении рекомендованных профессором книг. Так, для зачета по средневековой истории мною прочтен был Гиббон, по истории славян монография К. Я. Грота «Моравия и

³ Большинство профессоров в мое время ходило в вицмундирах. Ходить на лекции в шюртке считалось, в глазах «высшего начальства», признаком вольнодумства, а в глазах студентов, — «либерализма». Никогда не видел я облеченными в вицмундир лишь двух профессоров-филологов О. Ф. Миллера и Н. И. Кареева.

⁴ В первый год пребывания своего в университете я захакивал, из любопытства, и на лекции профессоров других факультетов, преимущественно юридического. Особенно интересными казались мне лекции по энциклопедии права Н. М. Коркунова, по истории русского права В. И. Сергеевича и по уголовному процессу И. Я. Фейншницкого.

мадьяры». Кстати припомнить, что и при производстве зачета В. И. Ламанский остался верен самому себе. Сначала он долго не понимал, или не желал понять, что это за зачеты заведены. Затем сказал, что ему безразлично, что студенты приготовят. Наконец, когда наступил назначенный день для производства зачета, В. И. Ламанский не явился, а когда мы потом упросили его все-таки произвести нам зачет, он снова заявил, что никаких зачетов не знает, что желает иметь дело только со специалистами. Когда же мы заявили, что от незачета семестра последний у нас пропадет, В. И. Ламанский попросил составить список студентов, желающих получить зачет, взял этот список и, не спросив даже, что каждый из нас приготовил, подписал его. Тем дело и кончилось.

Система зачетов, при правильной ее постановке, представляется мне гораздо целесообразнее системы экзаменов, особенно если последних приходится сдавать заразно много, по разнородным предметам и в короткий, сравнительно, срок. Тут создается невольно совершенно неприемлемая для университета «зубрежка» по лекциям, руководствам и пр. При зачете мы, как никак, знакомимся с классическими произведениями по той или иной специальности. И чтение Гиббона, например, принесло мне несомненно больше пользы, чем если бы я приготовил всю средневековую историю по какому-нибудь руководству, или часть этой истории по прочитанному профессором курсу. Не говорю уже о том, что всякие экзамены в той форме, в какой они производились и производятся у нас, носят характер какой-то лотереи, при которой большую роль играет и настроение экзаменатора в данный момент, и известная «ловкость» экзаменуемого. Отмечу еще маленькую деталь, характерную для «духа» устава 1884 г. — в мое время мы должны были отвечать не сидя, а стоя. Потом и эта мера «субординации» вывелась сама собою.

VII

Слушание лекций, участие в практических занятиях, подготовка к зачетам — все это требовало от прилежного студента довольно значительного напряжения сил и большой затраты времени. Такой прилежный студент проводил в университете время ежедневно с 10 (а иногда и с 9 часов) до 3, конечно, с промежутками, так как между лекциями иногда бывали и длительные перерывы. Ими мы пользовались для того, чтобы готовиться к практическим упражнениям в университетской, а еще чаще в академической библиотеке. Практические занятия у некоторых профессоров (например, у Ф. Ф. Зелинского, В. В. Латышева) происходили иногда по вечерам, от 6 до 8 часов. По пятницам я, в течение трех лет, занимался у Ф. Ф. Соколова на его квартире, помещавшейся в бывшем Историко-филологическом институте, греческими надписями; эти занятия начинались с 7 часов вечера и затягивались иногда до 11—12. В промежутке между утренними и вечерними лекциями приходилось зарабатывать хлеб насущный путем давания уроков. Мне в этом отношении повезло: в течение всего моего пребывания в университете я имел урок в семье адмирала А. К. Шефнера, жившего в адмиралтействе. Таким образом, в те дни, когда приходилось бывать в университете и утром, и вечером, я все же был избавлен от необходимости ходить с Загородного, где тогда жил, в Университет дважды. Правда, приходилось в такие перегруженные дни оставаться без обеда (иногда, впрочем, если было время, я оставался у Шефнеров обедать) и довольствоваться легкой закуской в виде обыкновенного трехкопеечного пеклеванника; студенческой столовой в мое время не было. Но мы тогда придерживались известного «не о хлебе едином» и пр. Вообще, столь модными теперь вопросами «питания» интересовались как-то мало, хотя приходилось иногда бывать и впроголодь.

Помимо всех перечисленных занятий, студент, в течение университетского курса, должен был написать на одобренную профессором тему сочинение. Это я считаю также положительной стороной устава 1884 г., так как никаким иным способом молодой человек не может лучше «войти» в науку, как разработкою какого-либо научного вопроса хотя бы и на небольшую тему (уродство устава 1884 г. заключалось лишь в том, что как упомянуто выше, в первые годы его реализации все студенты, назависимо от их научных интересов, должны были писать сочинения на темы из области классической филологии).

Я начал писать свое сочинение с конца пребывания своего на втором курсе. Тогда Ф. Ф. Соколовым объявлена была медальная тема «Об оракулах Асклепия и Амфиарая». Тема эта была чрезвычайно интересна, главным образом, тем, что, при обработке ее, приходилось оперировать с только что ставшим тогда известным благодаря недавним раскопкам, произведенным в Эпидавре и Оропе греками, совершенно свежим и неиспользованным почти материалом, — преимущественно надписями. На объявленную Ф. Ф. Соколовым тему стали писать сочинение упомянутый мною ранее А. И. Покровский и еще двое других студентов. Последние получили за свои сочинения серебряные медали, А. И. Покровский — золотую, я же не получил ничего, потому что, увлекшись темой, значительно расширил ее объем и к тому сроку, когда нужно было представить сочинения, оно у меня не было готово и наполовину. Свое сочинение я писал и на третьем, и на четвертом курсах, а закончил его лишь по окончании университета; оно носило заглавие «Исследования об инкубации и инкубационных оракулах в древней Греции». Рукопись сочинения хранится у меня и по сие время. Если бы ее напечатать целиком, она заняла бы 15—20 печатных листов. Позже, в 1893 г., благодаря ходатайству В. К. Еришtedта, «экстракт» из моих «Исследований» напечатан был под заглавием «Религиозное врачевание в древней Греции» (в Записках Русского археологического общества, а также отдельной книжкой). Сколькому я научился при занятиях своим сочинением! В этих занятиях, в сущности, заложен фундамент всей моей последующей ученой деятельности. Но и скольких трудов сочинение мне стоило! Заниматься им приходилось, главным образом, в зимнее и летнее каникулярное время, так как во внеканикулярное время были и другие обязательные занятия, были и уроки, и работать над сочинением приходилось урывками. Все же то время, когда я занимался «инкубацией», было славное время... И теперь еще, когда взгрустнется, — стоит взять в руки мои две увесистых тетради и начать их перелистывать, и грусть разлетится, как дым!

Благодаря тому же В. К. Еришtedту моя первая печатная работа появилась еще в бытность мою студентом. Она посвящена разбору ставших тогда известными отрывков из сочинений Арриана: «История преемников Александра Великого». Отрывками этими В. К. Еришtedт предложил заняться мне, когда я был на третьем курсе. Моя работа его удовлетворила, и он устроил, что она под заглавием «Из истории диадохов» принята была к напечатанию в ноябрьскую книжку за 1889 г. «Журн. Мин. нар. просв». Тогда я познакомился с редактором «Журнала» Л. Н. Майковым, который обласкал меня, начинающего автора в студенческом сюртуке, и очень польстил мне, пригласив меня и в дальнейшем сотрудничать в «Журнале». С того времени и началась моя деятельность в «Журнале», сначала в качестве постоянного сотрудника, а затем, по смерти В. К. Еришtedта, и его преемника по редактированию отдела классической филологии. В течение 15 лет до закрытия «Журнала» работал я в нем, и сколько радостных воспоминаний связано с этими годами, воспоминаний, касающихся и редактированного мною отдела, в котором — всегда буду гордиться этим — «печатались» почти все русские филологи-классики, и нашей дружной и тесной редакционной семьи, еженедельно, по четвергам, собиравшейся у Э. Л. Радлова и состоявшей из покойных ныне Ф. Д. Батюшкова и А. Э. Нольде и здравствующих Н. Д. Чечулина и Я. Н. Клубовского. Я вышел за пределы своих воспоминаний.

VIII

Лекции, практические занятия, работа над сочинением — так складывалась моя университетская жизнь. Из сотоварищей я близко сошелся с покойным Б. А. Тураевым, с А. Л. Липовским, Б. К. Ординым; нас объединяли хотя разнородные, но научные интересы. В последние два года пребывания в университете я очень подружился с бывшим на год моложе меня по курсу покойным Я. И. Смирновым. Остальных студентов-однокурсников я знал, в сущности, только по фамилиям, и знакомство с ними дальше «шапочного» не шло. Вообще, в мое время студенчество не только не было организовано, но было даже как бы разбито; недаром устав 1884 г. трактовал студентов, как

«отдельных посетителей». «Политикою», при обилии занятий и при увлечении ими, заниматься было некогда, да к ней, признаться, тогда и не тянуло. С этой точки зрения мы с Б. А. Тураевым и Я. И. Смирновым, а также и с большинством других сотоварищей, сочтены были бы, по более поздней квалификации, студентами малосознательными. Студенческих волнений в мое время я что-то не запомню; были, когда я состоял на втором курсе, какие-то сходки, но о них у меня осталось очень смутное воспоминание. В начале 1887 г. задержано было несколько студентов, несших разрывные снаряды и готовивших на Александра III покушение. Но и об этом событии помню плохо; знаю только, что фамилия одного из готовивших покушение была Генералов, что по этому поводу университет подносил Александру III адрес, с выражением «верноподданических чувств», и на этом адресе государь написал, между прочим, такое: «Надеюсь, что университет не на словах только, но и на деле докажет свою преданность престолу и родине. Да благословит его бог на все доброе» (копия резолюции государя была вывешена в комнате для студенческих объявлений). Ежегодно в течение моего пребывания в университете, как и позже до 1899 года, 8 февраля справлялся торжественный акт. Акт состоял из следующих частей: 1) чтение одним из профессоров годового отчета; 2) произнесение одним из профессоров написанной ко дню акта ученой речи; 3) доклад ректора о медальных сочинениях и самое награждение медалями. Последняя часть для нас, студентов, была, пожалуй, самая интересная. Акт заканчивался, разумеется, пением, под аккомпанемент студенческого оркестра, гимна, который тогда, насколько помню, протестов не вызывал. Зато исполнявшаяся или перед гимном, или в антрактах кантата, положенная на музыку тогдашним преподавателем музыки в университете, Главачем, сопровождалась обыкновенно свистом со стороны части студенчества. Кантата начиналась так:

Светлой радостью горя,
День торжественный встречайте,
Песнью дружной величайте
Православного царя.

Далее следовало несколько куплетов, слов которых не помню; каждый из них оканчивался таким рефреном:

Слава знаний покровителю,
Просвещения хранителю ... и т. д.

Худо ли это, или хорошо, не знаю — я в течение университетского курса всецело был охвачен занятиями, наукой. Поэтому единственными развлечениями в однообразном времяпрепровождении, если не считать чтения и посещения театра, особенно итальянской оперы, служили происходившие в университете вступительные лекции новых приват-доцентов, а иногда и профессоров, и ученые диспуты. В бытность мою студентом читали свои вступительные лекции будущие мои коллеги по факультету: покойные Г. В. Форстен, И. А. Шляпкин и благополучно здравствующие А. И. Соболевский, перешедший к нам из Киева, А. И. Введенский, С. Ф. Платонов, Ф. А. Браун, И. М. Гревс. Помню блестящую вступительную лекцию, в переполненном актовом зале, А. И. Введенского. Устав 1884 г. как известно, открыл широко двери для приват-доцентуры, и это опять-таки одна из хороших сторон его по существу. Следовало бы только обставить получение приват-доцентуры несколько более повышенными требованиями, особенно представлением хотя бы небольшой работы.

Но особенно привлекательны были ученые диспуты, эти истинные праздники науки. В моей памяти до сих пор свежо воспоминание о докторских диспутах покойных В. В. Латышева (История и государственное устройство г. Ольвии; официальными оппонентами были Ф. Ф. Соколов, П. В. Никитин и В. К. Ершtedт), Ю. А. Кулаковского (К вопросу о начале Рима; оппоненты Ф. Ф. Соколов и Ф. Ф. Зелинский). Помню я также юридический диспут покойного профессора Н. Д. Сергиевского («уголовного мужика», как его звали студенты), которому с большою запальчивостью оппонировал

его антагонист, покойный И. Ф. Фойницкий; диспут сопровождался свистками со стороны публики по адресу то диспутанта, то оппонента.

В первый год моего пребывания в университете функционировало еще студенческое научно-литературное общество. 29 января 1887 года исполнилось 50-летие со дня смерти Пушкина. В заседании выступали, между прочим, с речами О. Ф. Миллер, говоривший, как всегда, с большим пафосом, несколько деланным (помню начальные слова его речи: «Не торжество, а поминки...»), и С. П. Елисеев, читавший интересный доклад о драме «Борис Годунов». Вскоре общество было закрыто; закрыта была и студенческая читальня, где получались чуть ли не все русские газеты, и где, от массы посетителей и отсутствия какой-либо вентиляции, был всегда такой спертый воздух, что, после получасового пребывания в читальне, у меня жестоко разбаивалась голова. Вообще, пока ректором оставался И. Е. Андреевский, устав 1884 г. не давал себя сильно чувствовать. Но когда его заменил М. И. Владиславлев, сразу почувствовалась спертая атмосфера...

IX

Заключительная страница моих университетских воспоминаний — экзамены в государственной испытательной комиссии, или короче, государственные экзамены.

Я уже упоминал, что, по уставу 1884 г., никаких экзаменов в течение университетского курса не полагалось. Они все целиком сосредоточены были в государственных комиссиях; к ним допускались студенты, прослушавшие 8 семестров, получившие зачеты по ним, сдавшие экзамены по богословию и одному из новых языков и представившие, вместе с выпускным свидетельством, зачетное сочинение и свою автобиографию, написанную на латинском языке (для составления последней мы широко пользовались латинскими *singula vitae*, прилагавшимися к немецким докторским диссертациям).

Мои предшественники по выпуску сдавали все экзамены, и по основным и по дополнительным предметам, в один срок осенью 1889 г. Для нашего выпуска сделано было уже облегчение: дополнительные предметы мы сдавали в мае, основные в октябре 1890 г. Экзамены производились по установленным печатным программам, охватывавшим весь предмет, а не только ту часть его, которая была прочитана в университете. Поэтому подготовиться к экзаменам приходилось не по лекциям, но по печатным пособиям, если только литографированные лекции не охватывали собою большей части предмета. Кроме устных испытаний были еще два письменных. Они состояли в переводах с русского на греческий и латинский и имели решающее значение: получивший хотя бы одно «неудовлетворительно» на письменных экзаменах не допускался к устному. Равным образом, и на устных экзаменах можно было «провалиться» только по одному предмету, и то не из числа основных, а дополнительных. При наличии одной неудовлетворительной отметки по одному из дополнительных предметов комиссия в заключительном заседании могла переправить «неудовлетворительно» на «удовлетворительно» и выдать студенту диплом, но только второй степени, хотя бы все остальные отметки были «весьма удовлетворительно».

Самые экзамены обставлены были торжественно. Они происходили в присутствии всей комиссии, состоявшей из четырех членов и председателя; если экзаменатор по тому или иному предмету не принадлежал к составу комиссии, он приглашался *ad hoc* из лиц преподавательского персонала факультета.

В нашей комиссии председателем был добрейший И. В. Помяловский (в 1890 г. он за болезнью М. И. Владиславлева исполнял обязанности ректора). Ему мы обязаны, в значительной степени, тем, что экзамены сошли сравнительно благополучно и «пострадавших» почти не было.

Центр тяжести экзаменов сосредоточен был на классической филологии. Экзамены по греческой и латинской ветвям ее охватывали: 1) поэта и прозаика, выбранного по желанию студента из числа объявленных в программе (и поэта, и прозаика нужно было брать, если они не были очень велики, целиком: так, мною были выбраны из греков — Фукидид и Гесиод, из римлян — 4-я и сохранившаяся часть 5-й декады Ливия

и сатиры Персия и Ювенала; при этом еще нужно было указать на две-три книги из поэта и прозаика, послужившие предметом особенно обстоятельного изучения; 2) историю литературы; 3) древности; 4) грамматику и метрику. В числе основных же экзаменов была древняя история, Платон и Аристотель, история греческого искусства. Экзамены дополнительные соответствовали указанным выше дополнительным предметам групп А и Б.

Дополнительные экзамены носили, в сущности, характер обычных экзаменов. Вспоминается только, что очень трудно было готовиться к экзамену по русской истории, для которого рекомендована была «Учебная книга по русской истории» С. М. Соловьева — пособие, как известно, далеко не из легких по обилию в нем фактического материала. Недоразумение вышло опять с экзаменом по истории славян. Требовалась по программе вся история славян, а подходящего руководства не существовало. После долгих разговоров В. И. Ламанский согласился на то, что мы будем готовиться по «Лекциям по всемирной истории» Петрова. Но в них отделы, посвященные истории славян, в общей сложности, занимали едва ли более 50 страниц. Разумеется, эти 50 страниц нами выучены были назубок. Но на экзамене В. И. Ламанский забыл или не пожелал вспомнить о нашем уговоре и иногда задавал такие вопросы, на которые в «Лекциях» Петрова тщетно было бы искать не только ответов, но и кратких намеков на них. Получились конфузы. В. И. Ламанский сердился и спрашивал студентов: «А вы по чему специалист?». И узнав, что не по истории славян, задавал экзаменуемому вопрос: «К чему же вы тогда держите экзамен по истории славян?» Тут вступался в дело председатель, указывая В. И. Ламанскому, что экзаменующийся — специалист, скажем, по древней истории и написал прекрасное сочинение и т. п. и В. И. Ламанский ставил этому специалисту не по истории славян «весьма удовлетворительно», хотя самую историю славян этот специалист знал в лучшем случае на «неудовлетворительно».

Но самым сложным и трудным делом были экзамены по классической филологии. Здесь каждому студенту, даже без запинки отвечавшему и хорошо подготовившемуся, приходилось беседовать с экзаменатором не менее как в течение часа времени. «Подвел» нас всех на экзамене по философии А. И. Введенский. По программе мы должны были приготовить «вплотную» диалог Платона и трактат Аристотеля. Но А. И. Введенский не стал спрашивать ни того, ни другого, а предлагал вопросы из истории древней философии, которую мы готовили довольно суммарно. В результате только один из экзаменовавшихся — Б. К. Ордин получил «весьма удовлетворительно», все же остальные — лишь «удовлетворительно». Несколько «провалов» произошло на последнем экзамене — по истории древнего искусства у Н. П. Кондакова, который оказался экзаменатором довольно крутым и несговорчивым.

Не помню, сколько студентов приступило к экзаменам в комиссии; но помню, что окончивших все экзамены было 19 человек.

Наша комиссия была второю и последнею в том виде и в том составе предметов, в каком она была предусмотрена уставом 1884 г. Уже для студентов, поступивших в 1887 г., на факультете были восстановлены прежние четыре отделения: классическое, историческое, славяно-русское и романо-германское; восстановлены были полукурсовые экзамены, а центр тяжести государственных экзаменов был перенесен на специальные предметы, хотя оставлена была для всех значительная доза предметов «классических».

Нелегко было нашему выпуску сдавать государственные экзамены, и сильно мы от них приустиали. Все же экономия во времени получилась большая. Сузу по собственному примеру: в течение университетского пребывания я к экзаменам, если не считать чтения древних авторов, почти не готовился. Подготовка к дополнительным предметам взяла у меня месяца три, к основным — месяца четыре; в течение этих семи месяцев я имел возможность продолжать работать над своим сочинением. Если прибавить к этим семи месяцам подготовки еще два месяца на самые экзамены, получится девять месяцев. И правильнее, по моему убеждению, потратить сплошь девять месяцев на все экзамены, чем растянуть эти девять месяцев на четыре года. Как-никак,

почти четыре года возможно было заниматься «наукою», не отвлекаясь ни подготовкой к экзаменам, ни ими самими. И в этом было большое удобство: получалась сосредоточенность в занятиях...

Х

31 октября 1890 г. сдан был мною последний экзамен. Через месяц я был «оставлен при университете» без стипендии. За четыре года пребывания в университете я успел так сродниться с ним, что расставаться с ним было грустно; самые стены его стали для меня дорогими. Скоро я получил возможность снова почти ежедневно бывать в этих стенах. С 1 февраля 1891 г. я, по приглашению Н. П. Кондакова, получил место «вольнонаемного писца при Музее древностей университета», с жалованьем 20 руб. в месяц. В сущности, я стал библиотекарем Музея, а за частыми отъездами Н. П. Кондакова в командировки, а затем в длительный, по болезни, отпуск, сделался как бы заведующим музея (официально заведовал Музеем древностей И. В. Помяловский, но он в дела Музея почти не вмешивался). В звании «вольнонаемного писца», при 20 руб. оклада, я оставался до конца 1898 г., когда был назначен хранителем Музея, после того, как получил степень магистра: и тогда мне полагалось жалованья 50 руб.

С 1 февраля 1891 г. началась моя связь с университетом, не прерывавшаяся ни на один год. Она стала еще более крепкою, когда я вступил в преподавательский персонал университета, начав с приват-доцентуры, прошел, по получении докторской степени, через экстраординатуру в ординатуру и попал, наконец, просто в «профессуру». Мало того: со времени дарования университетам автономии в 1905 году судьба привела меня пройти все административные должности в университете: с 1905 по 1909 г. я состоял секретарем факультета, в 1911—1912 г. был проректором университета, в 1918—1919 г. деканом факультета и, наконец, в 1919 г. в течение, правда, всего двух месяцев занимал пост ректора университета. Для всех этих «этапов» моей деятельности в университете не мало накопилось у меня воспоминаний. Они отчасти радостные, отчасти обвеяны грустью. Но мои воспоминания о том времени, когда я был студентом университета, воспоминания исключительно светлые. Они проникнуты глубоким чувством благодарности к моим профессорам и наставникам, они проникнуты искреннею любовью к университету, который, за 35 лет слишком моего с ним общения, должен был стать для меня и, конечно, стал истинною *alma mater*.

С. Жебелев